

Пушкин — наш товарищ

Народ читает книги бережно и медленно. Будучи тружеником, он знает, сколько надо претворить, испытать и пережить действительности, чтобы произошла настоящая мысль и народилось точное, истинное слово. Поэтому уважение к книге и слову у трудящегося человека гораздо более высокое, чем у интеллигента дореволюционного образования. Новая, социалистическая интеллигенция, вышедшая из людей физического труда, сохраняет свое, так сказать, старопролетарское, благородное отношение к литературе. Нам приходилось видеть, как молодые инженеры, агрономы и лейтенанты-моряки, сплошь люди рабочего класса, по получасу читали небольшие стихотворения Пушкина, щепта каждое слово про себя — для лучшего, пластического усвоения произведения.

Серьезность их отношения к человеческому духу, к искусству столь же велика, как и к работе на подводной лодке, на самолете, у дизеля, — если не больше. Эти люди не нуждаются в рекомендации Гершензона — читать медленно, чтобы видеть растения поэзии, живущие под толстым льдом поверхностного, равнодушного внимания. Теперь читатель — сам творческий человек, и у каждого есть поле для воодушевленной, поэтической деятельности, ограниченное лишь мнимым горизонтом. Несущественно, что эта поэтическая деятельность заключается не в стихотворениях, а в стахановском движении, например. Существенно, что эта работа требует сердечного вдохновения, напряженного ума и общественной совести.

Сам Пушкин говорил, что без вдохновения нельзя хорошо работать ни в какой области, даже в геометрии. «Писать книги для денег, видит бог, не могу...» сообщал Пушкин из Михайловского осенью 1825 г. Стаханов тоже не ради добавочной полочки денег спустился в шахту в одну предосеннюю ночь 1935 г. Паровозные машинисты-кривоносовцы в начале своей работы следовали своему артистическому чувству машины, вовсе не заботясь о наградах или повышенной зарплате. Наоборот, и Стаханов, и Кривонос, и их последователи могли подвергнуться репрессиям, и некоторые стахановцы подвергались им, потому что враг сознательный и бессознательный, темный и ясный, был вблизи стахановцев, и по сей час еще есть.



Пушкин-лицеист. Рис. В. Фаворского

Всегда можно очернить, опозорить передового, изобретательного человека. «Вы путь расшатаете мы станем навеки» — говорили отсталые железнодорожники кривоносовцам. «А вы содержите путь по-новому: под высокую скорость и тяжеловесную нагрузку, — как мы содержим паровозы!» — ответили кривоносовцы. Риск искусства художника любого рода оружия — от поэта до машиниста — всегда был. Задача социализма свести этот риск на-нет, потому что творческий, изобретательный труд лежит в самом существе социализма. Риск Пушкина был особенно велик: как известно, он всю жизнь ходил «по тропинке бедствий», почти постоянно чувствовал себя накануне крепости или каторги. Горе предстоя-

щего одиночества, забвения, лишения возможности писать отравляло сердце Пушкина.

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедю
Угрожает снова мне...

.

Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз

(«Предчувствие»).

Но это горе, возникнув, всегда преодолевалось творческим, универсальным, оптимистическим разумом Пушкина; это было видно и в предыдущем стихотворении («сжать твою, мой ангел, руку») и особенно в следующем:

Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный:
...Ты все пигмей, пигмей, ничтожный.

(«Андрей Шень»).

И самый враг, «свирепый зверь» Пушкина — едкое самодержавие Николая, имевшее поэта постоянно на прицеле — вызывал у Пушкина не один лишь гнев или отчаяние. Нет: пожалуй еще больше он смеялся над своим врагом, удивлялся его безумию, потешался над его усилиями затомить народную жизнь или устроить ее впустую, безрезультатно, без исторического итога и эффекта. Зверство всегда имеет элемент комического; но иногда бывает, что зверскую, атакующую, регрессивную силу нельзя победить враз и в лоб, как нельзя победить землетрясение, если просто не переждать его.

Понятно, что самодержавие внешне как будто мало походит на «землетрясение», но если 14 декабря 1825 г. на Сенатскую площадь вышли одни дворяне, то, значит, самодержавие было еще непреодолимо: оно все же «землетрясение». Известно, кто в действительности справился с самодержавием, не оставив даже праха его.

До сих пор нельзя считать решенным, почему Пушкин не присутствовал на Сенатской площади. Выехав из деревни в Петербург, он вдруг возвратился обратно. Если б он доехал до Петербурга, он поспел бы ко времени события и, конечно, появился бы на площади, хотя бы из чувства товарищества, в силу своего храброго и благородного характера. Существуют доказательства, что декабристы сами не привлекали Пушкина к активной роли в движении, отчасти ради сохранения его великого поэтического дара, отчасти из понимания, что Пушкин не годится для их мужественной работы по особенностям своей личности. Это со стороны декабристов. А как думал Пушкин? Считал ли он, декабристов — не только по их мировоззрению, но и по их объективному значению, по их связи с исторической судьбой русского народа — вполне подходящими для себя, вполне соответствующими его знанию и чувству исторической

жизни России, наконец — отвечающими его, пусть неясной, социальной надежде? Личные отношения с декабристами здесь не в счет. Пушкин знал высокую цену декабристам, но он знал также, что личные качества не всегда служат измерением для исторической стоимости человека.

Это можно доказать на отношении Пушкина к Петру и отчасти к Борису Годунову и Пугачеву.

Мы хотим поставить вопрос, не обладал ли Пушкин более точным знанием и ощущением действительности, чем декабристы. И затем — не играл ли он пассивную политическую роль в декабрьском движении по собственному почину, а его друзья лишь отметили этот факт, поняли его и, объяснив его в соответствии со своим высоким отношением к поэту, вполне согласились с таким поведением Пушкина. Иначе следует допустить, что великий поэт, будучи человеком храбрым, несчастным и гениальным, отказался принять участие в улучшении своей и всеобщей судьбы, т. е. оказался человеком, мягко говоря, недальновидным и легкомысленным. А мы знаем, что Пушкин применяет легкомыслие лишь в уместных случаях.

Попытаемся подойти к вопросу об отношении Пушкина к самодержавию и декабристам со стороны конкретного произведения. Возьмем «Медный Всадник».

А. В. Луначарский писал о «Медном Всаднике»:

«...Самодержавие в образе Петра... рисуется как организующее начало... начало широкообщественное... Великий конфликт двух начал, который чувствовался во всей русской действительности, Пушкин брал для себя, для собственного своего успокоения, как конфликт организующей общности и индивидуалистического анархизма. Конечно, в известный момент истории просвещенный абсолютизм царей играл отчасти положительную роль. Но она быстро превратилась в чисто отрицательную задерживающую развитие страны...»

Если же внимательно прочитать «Медного Всадника», то станет видно, что суждение А. В. Луначарского объясняет его собственное мировоззрение, но не Пушкина. В поэме просто нет таких двух начал — организующей общности и индивидуалистического анархизма; здесь и сама терминология не пушкинская и не поэтическая, — это уже публицистика новейшего времени.

В «Медном Всаднике» действует одно пушкинское начало, лишь разветвленное на два основных образа: на того, «Кто неподвижно возвышался Во мраке медною главой, Того, чьей волей роковой Над морем город основался» и на Евгения — Парашу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам отношения к Медному Всаднику и Евгению. Вот в чем дело. Этого доказывать не нужно, для этого нужно просто читать поэму без всякой предвзятости, руководясь Пушкиным, а не собственными идеями; в противном случае нельзя понять объективное значение не только Пушкина, но и любого явления.

Люблю тебя, Петра творенье,
 Люблю твой строгий, стройный вид,
 Невы державное течение,
 Береговой ее грапит.

Красуйся, Град Петров, и стой
 Неколебимо, как Россия.
 Да умирится же с тобой
 И побежденная стихия;

Это во вступлении к поэме. И далее во второй, последней части поэмы — про Медного Всадника, про Петра:

Ужасен он в окрестной мгле!
 Какая дума на челе!
 Какая сила в нем сокрыта!
 А в сем коне какой огонь!

О мощный властелин Судьбы!
 Не так ли ты над самой бездной,
 На высоте, уздой железной
 Россию поднял на дыбы?

И вслед за этим стихи про Евгения:

Крутом подножия кумира
 Безумец бедный обошел.

Вскипела кровь. Он мрачен стал
 Пред горделивым истуканом...

Но ведь это — состояние Евгения, а не Пушкина. Пушкин же совсем иначе ценил Петра и «его творенье». У Пушкина: «Он дум великих полн», а у Евгения — горделивый истукан. Однако и Евгений для Пушкина — великий этический образ, может быть — не менее Петра. Вон кончина Евгения, после утраты Парашки навсегда:

... Пустынный остров. Не взросло
 Там ни былинки. Наводнение
 Туда, играя, завесло
 Домишка ветхий. Над водою
 Остался он, как черный куст.
 Его прошедшею весною
 Свезли на барже. Был он пуст
 И весь разрушен. У порога
 Нашли безумца моего,
 И тут же холодный труп его
 Похоронили ради бога.

Трудно написать печальнее и точнее про смерть несчастного человека. Итак, по Пушкину, Петр — прекрасен и автор его любит, а про Петербург сказано:

Люблю, военная Столица,
 Твоей твердыни дым и гром...!

Евгений же изображен на протяжении всей повести-поэмы как натура любви, верности, человечности и как жертва Рока. Пушкин тоже любит его.

Больше того, Пушкин отдает и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг

Дорогой друг
Камилла
Ваша
Сестра



Сестра
Ваша
Сестра

Рис. Пушкина. Автопортрет

другу. Из глубины своего деятельного сердца, из истинного творческого воодушевления, из поэтического, человеческого в конечном счете, источника Петр создал свое чудное творение — Петербург и новую европейскую Россию. И в глазах Пушкина предстало великое искусство, условно сосредоточенное в бронзовом памятнике Медному Всаднику, — поэт и истинный человек не мог не удивиться ему, не почувствовать в своей душе родства с Петром — по вдохновению жизни, по быстрому, влекущему стремлению к дальним целям истории... Но вот — Евгений. Бедный человек, чиновник. Его душа, тесно огражденная судьбою и общественным положением, могла отдать всю свою силу лишь в любовь к Параше, к дочери вдовы. Но эта такая частая и обычная человеческая страсть, возвращенная в самых теснинах уединенного сердца и усиленная ими, — эта страсть не побеждается даже наводнением и гибелью Параша, даже Петром Первым, ничем, — человек уничтожается вместе со своей любовью. Это не победа Петра, но это — действительная трагедия. В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой.

Евгений с содроганием прошел мимо Медного Всадника и даже угрожал ему: «Ужо тебе!», хотя и признал перед тем: «Добро, строитель чудотворный!».

Даже бедный Евгений понял кое-что: «строитель чудотворный!» Слово на мгновение его посетил сам пушкинский разум и просветил его потрясенное, разрушенное сердце. Евгений тоже ведь «строитель чудотвор-



Рис. Пушкина. Общество в гостиной (на черновике стихотворения «Осень», октябрь 1830 г. Болдино)

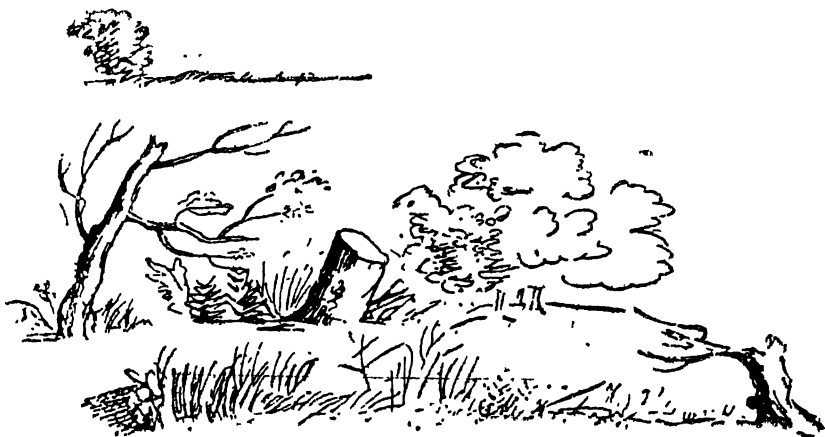


Рис. Пушкина. Пейзаж (конец 1828 г.)

ный», — правда, в области, доступной каждому бедняку, но недоступной сверхчеловеку, — в любви к другому человеку. В это мгновение прошло понимание и как бы примирение между Евгением и Медным Всадником.

В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру перед Евгением ни наоборот. Они, по существу, равносильны — они произошли из одного вдохновенного источника жизни, но они — незнакомые братья: один из них не узнал, что он победил, а другой не понял своего поражения.

Но что было бы, если бы Параша осталась жива? Евгений пошел бы к ней в «домишка ветхий», и мир ограничился бы этим грустным жилищем, где бездеятельная, бессильная бедность иссушила бы вскоре любящие сердца.

А Петр? Он бы весь мир превратил в чудесную бронзу, около которой дрожали бы разлученные, потерявшие друг друга люди.

Где же выход? — В образе самого Пушкина, в существе его поэзии объединившей в этой (своей «петербургской повести») обе ветви, оба главных направления для великой исторической работы, обе нужды человеческой души. Разъедините их: получатся одни «конфликты», получится, что Евгений — либо убожество, либо «демократия», противостоящая самодержавию, а Петр — либо гений чудотворный, либо истукан. Но ведь в поэме написано все иначе.

Видевший повсюду свежие следы деятельности Петра, Пушкин словно верил, что явления Петра еще раз повторится в русской истории, потому что дело Петра только начато, а вовсе не завершено. Ведь «народ безмолствовал», — откуда же еще ждать спасения? А в дворян, в своих «соплеменников» Пушкин верил очень слабо: образа дворянина-декабриста поэт не создал, и не пытался его создать, он прославил декабристов лишь, так сказать, дидактически («Во глубине сибирских руд...»)

и другие стихотворения). Он знал, видимо, другую, свою, цену декабристам, отличную от нашей оценки их. Только в дали неопределенного будущего он предвидел, что декабристов помянут добрым словом — «и братья меч вам отдадут». Это исполнилось, но в гораздо более смелом и широком развороте истории. Пушкин вообще считал висред довольно скромно: хорошие дороги с трактирами он предвидел, например, лишь в предсказаниях (через пятьсот лет!): эти предсказания ведь равнозначны гаданиям о вечности, в которой все может случиться — что угодно. За такой срок можно даже предсказывать горы на месте волжского русла.

В близком родстве с «Медным Всадником» находится другая поэма — «Тазит». Евгений из «Медного Всадника» и Тазит — несомненно родные братья. Внутренняя тема обеих поэм — одинакова. В Тазите опять действует великое сердце человека.

Отец. Кого ты видел?
 Сын (Тазит). Супостата.
 Отец. Кого? Кого?
 Сын. Убийцу брата.
 Отец. Убийцу сына моего!..
 Приди! Где голова его?
 Тазит!.. Мне череп этот нужен,
 Давай наглажусь!
 Сын. Убийца был
 Один, изгнанс, безоружен...

И к концу поэмы (где любовники — в противоположность «Медному Всаднику» — соединились в «домишке ветхом»):

Но между юношей один
 Забав наездничьих не делил,
 Верхом не мчитс я вдоль стремнин,
 Из лука звонкого не целит.
 И между девами одна
 Молчит уныла и бледна.
 Они в толпе четою странной
 Стоят, не видя ничего,
 И горе им: он сын изгнанной,
 Она любовница его...

Если бы не наводнение в Петербурге, то Евгений и Параша могли бы окончить свою судьбу, как Тазит и его возлюбленная: «и горе им», — с тою лишь разницей, что горе Тазита от изгнания, а у Евгения от бедности. В остальном их горе одинаковое: горе души, переполненной одним чувством и обессиленной им, горе ограниченной жизни, которая ничего больше не берет для себя из действительности, не участвует в ней и никаких других «забав не делит». Вот что понимал Пушкин и показывал, чтоб понимали другие, и вот почему он любил Медного Всадника. Петру для Пушкина был направлением в обширный, деятельный мир, где, однако, тоже нельзя существовать без Тазита и Евгения, чтобы не получилась одна «бронза», чтобы Адмиралтейская игла не превратилась в подсвечник у гроба умершей (или погубленной) поэтической челове-

ческой души. Сознание Пушкина, выраженное в мелодии стиха, во внутреннем качестве и смысле его поэзии, ясно подсказывает истинное решение темы: объединить Петра и Евгения — или одно; породнить снова навеки отца и изгнанного сына — Тазита. Но Пушкин не мог и не хотел идти на подобный сюжет для своих поэм: это было бы фантастическое, а не реалистическое решение темы; действительность не давала возможности на такой исход. И Пушкин решил истинные темы «Медного Всадника» и «Тазита» не логическим, сюжетным способом, а способом «второго смысла», где решение достигается не действием персонажей поэм, а всей музыкой, организацией произведения, — добавочной силой, создающей в читателе еще и образ автора, как главного героя сочинения. Другого способа для таких вещей не существует.

Едва ли столь глубокое отношение к Петру было свойственно декабристам: для этого требовалось иметь универсальный разум гения, не считая обязанности быть поэтом. Декабристы сами многому и впервые научились у Пушкина.

С печалью и жадностью Пушкин осматривается в окружающем его мире, ища те силы, которые зажгли бы «солнце святое» и потушили бы свечки. В такие минуты он согласен был стать даже декабристом, а в Кишиневе хотел, чтобы его нанял кто-нибудь подраться за себя.

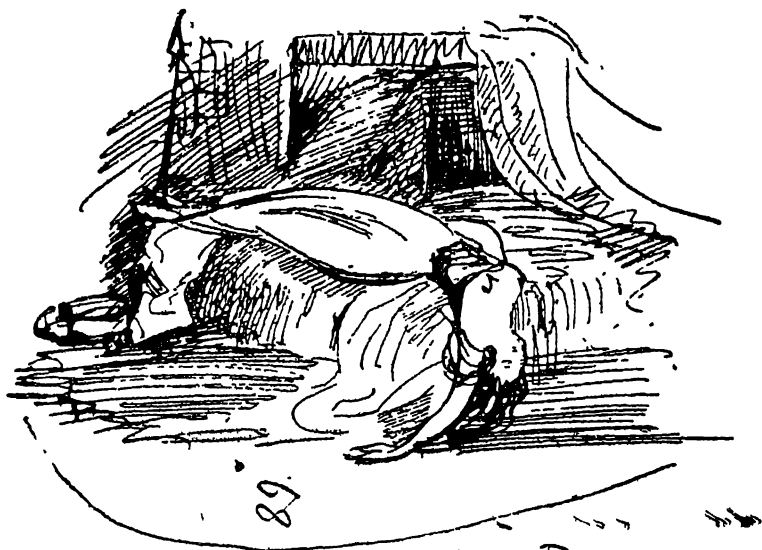
Мы уже говорили, что Пушкин не верил в историческую силу дворянства: он хорошо знал своих «соседей». Евгений Онегин — может быть прелесть, но не сила; а реальная аристократия и деревенские помещики — это материал для эпиграмм и для будущих повестей Гоголя. Поэт ясно ощущал, что главная дорога истории началась где-то в стороне, и второй Петр Первый уже никогда не появится. Пушкин едет в оренбургские степи, где ходил «бушующий мужик — казак» Пугачев.

В ту же пору своей жизни он пишет «Повести Белкина». «Черный народ», мелкие служащие, смотрители почтовых станций, коменданты забытых крепостей, крестьяне, пугачевцы, придорожные кузнецы и мастеровые, обездоленные девушки становятся предметом изучения и творчества Пушкина. Как бы невзначай, непреднамеренно он начинает великую русскую прозу XIX и XX века.

Известно (см. «А. С. Пушкин» V том, Гослитиздат, Москва 1935 г.), что Пушкин в очень осторожной, иногда даже двусмысленной, форме выразил свое сочувствие пугачевскому народному движению, хотя и не нашел в нем, и не мог найти того, чего искал. И в этом, «потустороннем» мире еще не было полной истины. Отношение Пушкина к Пугачеву в какой-то степени напоминает его отношение к декабристам. Правда, доказать это трудно, потому что Пушкин был очень связан и ограничен специфическими условиями (цензором-царем, своим общественным положением и пр.), чтобы яснее сформулировать свое мнение о Пугачеве. И, наоборот, в отношении декабристов поэт был более свободным и, кроме того, там имелись дружеские связи и родство по положению в обществе. Если снять эти коэффициенты на «удаленность», на социальную «потусторонность» Пугачева и на «приближенность» декабристов — величины хоть и реальные, но для нашей мысли несущественные, — то останется уважение Пушкина к обоим освободительным движениям и



Рис. Пушкина. Сумасшедший дом; пейзаж; романтические фигуры
(1828 г.)



Убийство! ^{маньяк} ~~Убийство~~ ^{Убийство} ~~Убийство~~
 Блудная дама ~~Убийство~~ ^{Убийство} ~~Убийство~~
~~Убийство~~ ^{Убийство} ~~Убийство~~
 Убийство ^{Убийство} ~~Убийство~~

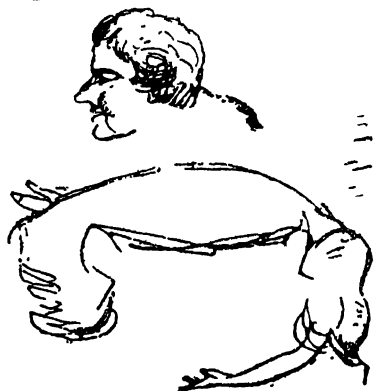


Рис. Пушкина. Убитая женщина (на черновике отрывка «Гости съезжались на дачу» (предпол, 1828 г.)

грустное разочарование в них. Причем в деле с декабристами поэт как бы заранее предчувствовал неудачу. Он видел точнее декабристов.

И Пушкин оказался прав, потому что время Петра — «известный момент... просвещенного абсолютизма царей, игравшего отчасти положительную роль» (А. В. Луначарский) — уже прошло, а никакой другой положительной исторической силы, в персонифицированном виде, еще не появилось, — даже убудочная, «промежуточная» русская буржуазия еще только нарождалась, и пока что смиренно, «по-коммерчески» вживалась в Россию, а до действительной силы истории — до рабочего класса — было вовсе далеко. Работали одни, так сказать, предварительные, вспомогательные силы (Пугачев) и декабристы. Ни те, ни другие не могли удовлетворить Пушкина, хотя и заинтересовали его до глубины души. Он думал о более главном.

История существовала лишь в свернутой, в своей предисторической форме. Действительность была словно не настоящей. И Пушкин ощущал это обстоятельство. Поэтому, читая его, иногда кажется, что поэт сам жил и работал будто не всерьез. Едва ли Пушкин шутил: эта шутка не забавна, утомительна и печальна. Конечно, мы говорим не о качестве стихов, а об их пессимистическом смысле в частых случаях. Евгений Онегин живет на свете из роковой и жалкой неизбежности: ему, лишь бы отжиться как-нибудь, а чтоб вытерпеть эту нагрузку, он равнодушно занимается почти не действующими на него удовольствиями. Какая разница с другим Евгением — из Медного Всадника — и Тазитом! Последние были как бы менее историческими людьми, Онегин же вполне точный социальный тип.

В истории, в большой жизни будто стало нечего делать:

..... Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам собой.

Онегин не был отрицательным, как теперь говорят, типом. Он был всего лишь несчастным человеком, но причины своего бедствия не понимал и даже не заботился о таком понимании. В другое время, при другом состоянии общества Онегин мог бы стать героем великой деятельности.

По адресу «света», т. е. верхней части общества, из уст персонажей Пушкина нередко раздавалось глумление, издевательство, поднимавшееся до сатирического обобщения, до масштабов всей природы, до самых принципов общественного существования, — все же это было совершенно не то, что, продолжая эту частную пушкинскую линию, совершили затем Гоголь, позже Достоевский, Щедрин и другие. Мы еще вернемся к продолжателям дела Пушкина, столь в сущности непохожим на него.

Адресуясь определенным образом к «свету», Пушкин никогда не оторочил народа, даже когда, казалось, он был близок к этому. В стихотворении «Чернь» поэт (не Пушкин, а действующее лицо стихотворения) говорит:

Молчи, бессмысленный народ,
 Поденщик, раб нужды, забот!
 Несносен мне твой ропот дерзкий,
 Ты червь земли, не сын небес.

А народ отвечает «поэту»:

Нет, если ты небес избранник,
 Свой дар, божественный посланник,
 Во благо нам употребляй:
 Сердца собратьев исправляй...

Ты можешь ближнего любя,
 Давать нам смелые уроки,
 А мы послушаем тебя.

Народ ответил терпеливо и благородно, а «поэт» говорил с ним как самонадеянный хвастун.

Но в чем же тайна произведений Пушкина? — В том, что за его сочинениями — как будто ясными по форме и предельно глубокими, исчерпывающими по смыслу — остается нечто еще большее, что пока еще не сказано. Мы видим море, но за ним предчувствуем океан. Произведение кончается, и новые, еще большие темы рождаются из него сначала. Это семя, рождающее леса. Мы не ощущаем напряжения поэта, мы видим неистощимость его души, которая сама едва ли знает свою силу. Это чрезвычайно похоже на обыкновенную жизнь, на самого человека, на тайну его, скажем, сердцебиения. Пушкин — природа, непосредственно действующая самым своим способом: стихами. Поэтому правда, истина, прекрасное, глубина и тревога у него совпадают автоматически.

Пушкину никогда не удавалось исчерпать себя даже самым великим своим произведением, — и это оставшееся вдохновение, не превращенное прямым образом в данное произведение и все же ощущаемое читателем, действует на нас неотразимо. Истинный поэт после последней точки не падает замертво, а вновь стоит у начала своей работы. У Пушкина окончания произведений похожи на морские горизонты: достигнув их, опять видишь перед собою бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чертою.

Универсальное творческое сознание Пушкина после него не перешло ни к кому. Эксплуатировались, так сказать, лишь отдельные элементы наследства Пушкина. Но поскольку у Пушкина эти элементы входили в его живую творческую гармонию, то, будучи примененными по отдельности, они, эти элементы, в некоторых произведениях послепушкинских писателей принесли даже вред.

Сообщим вкратце про Гоголя и Щедрина.

Мы не касаемся всех их сочинений, а только некоторых, где родимая печать Пушкина наиболее ясна.

В «Мертвых душах» Гоголь изобразил толпу ничтожеств и диких уродов: пушкинский человек исчез.

Щедрин тоже отчасти воспользовался направлением Гоголя, обрабатывая свои темы еще более конкретно и беспощадно. Не в том дело, что губернаторы, помещики, купцы, генералы и чиновники —

одичалые, фантастические дураки или прохвосты. Мы не о том жалеем. А в том беда, что и простой, «убитый горем» народ, состоящий при этих господах, почти не лучше.

Во всяком случае образ «простоянодина» и «господина» построен по одному и тому же принципу.

Особенно далеко отошел от Пушкина и впал в мучительное заблуждение Достоевский; он предельно надавил на жалобность, на фатальное несчастье, тщетность, бессилие человека, на мышиную возню всего человечества, на страдание всякого разума.

Какой можно сделать вывод из некоторых, главнейших работ Достоевского? Вывод такой, что человек — это ничтожество, урод, дурак, тщетное, лживое, преступное существо, губящее природу и себя.

А дальше что, если судить по Достоевскому? А дальше, — так бей же, уничтожай этого смешного негодяя, опоганившего землю! Человек же ничто, это — «существо несуществующее»!

Нам кажется, Пушкин бы ужаснулся конечному результату кое-каких сочинений своих последователей, продолжателей дела русской литературы. Гоголь, например, и сам ужаснулся. Живые элементы пушкинского творчества, взятые отдельно, умерли и выделили яд. Еще все напоминало Пушкина, но на самом деле его уже не было. Великая по форме и по намерениям русская постепушкинская литература, вызывая тоску и голод в читателе, не могла все же его накормить, утешить и правильно направить в будущее.

Не желая быть неточно понятыми, мы сжато разъясним еще раз свою только что изложенную точку зрения. Во-первых, мы говорим не обо всех произведениях Гоголя и Щедрина, а лишь о тех, где оказалась интересующая нас тенденция. Во-вторых, Гоголь своей трагической судьбою сам доказал, что жить с мертвой душой, пережившейся из «внешнего» мира внутри самого сердца писателя, — нельзя. Щедрина сыграл своей критикой старого общества огромную революционную роль — никто не посмеет умалить достоинство великого классика. Но ведь и тогда жили люди, которым необходим был выход из замкнутости, из нужды и печали немедленно, или, по крайней мере, им была нужна уверенность в ценности своей и общей жизни. Читая иные произведения Щедрина, наслаждаясь мощью его сатиры, его пером, действующим как дробящий перфоратор, человек иногда теряет веру в свое достоинство и не знает — как же ему быть дальше в этом мире, «где сорным травам лишь место есть». Ведь были же и тогда писатели, понимавшие свою задачу несколько иначе; например, Чернышевский.

Лишь позже появились более действительные преемники Пушкина, которые обратились к читателю-человеку с полноценным «хлебом насущным». Среди них первое место занимает Максим Горький. Нам теперь понятно, почему именно Горький, а не Достоевский, имел полноценный, «неотравленный хлеб». Дело здесь не в таланте; дело в том, что хозяином истории стал действительный кормилец и утешитель человечества — пролетариат.

Чего же хотел Пушкин от жизни?.. Для большого нужно немного. Он хотел, чтобы ничто не мешало человеку изжить священную энергию своего сердца, чувства и ума. Изжить — и скончаться: «и пусть у гробового входа младая будет жизнь играть». Здесь нет пессимизма. Наоборот, здесь есть великодушие, здесь истинный оптимизм, полное доверие к будущей «младой» жизни, которая сыграет свой век не хуже нас. Пушкин никогда не боялся смерти, он не имеет этого специфического эгоизма (в противоположность Л. Толстому); он считал, что краткая, обычная человеческая жизнь вполне достаточна для свершения всех мыслимых дел и для полного наслаждения всеми страстями. А кто не успевает, тот не успеет никогда, если даже станет бессмертным.

Пушкин, конечно, ясно понимал, что снять путы с истории и тем самым освободить вольнолюбивую душу человека — дело не простое. Он даже предполагал, что это — музыка далекого будущего. Известно, думал ли Пушкин, насколько усилится и обновится «вольнолюбивая душа человека» при снятии пут с истории, — насколько человек оживет, повеселеет, воодушевится, приобщится к творчеству, превратит в поэзию даже работу отбойного молотка и бег паровоза, — насколько он, будущий для Пушкина человек, станет его же, пушкинским, человеком...

Разве не повеселел бы часто грустивший Пушкин, если бы узнал, что смысл его поэзии — универсальная, мудрая и мужественная человечность — совпадает с целью социализма, осуществленного на его же, Пушкина, родине. Он, мечтавший о повторении явления Петра, «строителя чудотворного», — что бы он почувствовал теперь, когда вся петровская строительная программа выполняется каждый месяц (считая программу, конечно, чисто производственно — в тоннах, в кубометрах, в штуках, в рублях: в ценностном и количественном выражении)... Живи Пушкин теперь, его творчество стало бы источником всемирного социалистического воодушевления...

Да здравствует Пушкин — наш товарищ!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Ж У Р Н А Л
ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ
КРИТИКИ
И ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

К Н И Г А
П Е Р В А Я



Г О С Л И Т И З Д А Т
1 9 · Я Н В А Р Ь · 3 7